

## Гоголевская машина

*Васильев К.Б.*, глав.ред. издательства «Авалонъ» (Санкт-Петербург)  
[avalon-edit@yandex.ru](mailto:avalon-edit@yandex.ru)

**Аннотация:** Автор на примере нескольких слов, выражений и отрывков из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя рассуждает о вмешательстве цензуры и редакторы в авторский текст. Высказывается мысль о полной ненужности официальной цензуры для художественных произведений: сам сочинитель должен редактировать и цензурировать свои творения с учётом того, что он обращается к публике с её множеством вкусов, мнений, пристрастий и предрассудков, и его произведение может кому-то или многим не понравиться, его не обязательно примет к печати тот или иной издатель, в том числе по этическим или денежным соображениям. Исследуя сведения о Н. В. Гоголе в начале его петербургского периода, автор также показывает, что свидетельства очевидцев и современников, в том числе вошедшие в академические справочники, не являются бесспорными..

**Ключевые слова:** Записки сумасшедшего, Арабески, Зверков, Кокушкин мост, Поприщин, дефекты слога, цензура, машина/машина, поляки/приезжие, каретник Иохим, дегатированный, дона/донна

---

На всякую, самую безумную мысль, взятую из дома сумасшедших, можно отыскать равносильную, ежедневно обращающуюся в свете.

*Из «Русских ночей» Владимира Одоевского*

Живу я на Измайловском проспекте, и когда мне нужно на Сенную площадь, или на Гороховую улицу, или через означенные места куда-то дальше в сторону Невы или за Неву, я перехожу через Фонтанку по Измайловскому мосту на Вознесенский, сворачиваю на первом перекрёстке направо на Садовую улицу... Впрочем, вместо Садовой с её тесным пешеходным и дорожным движением лучше пройти чуть дальше по Вознесенскому проспекту до канала. Пересекаем Екатерингофский проспект, где со стены углового дома сверху вниз на прохожих взирает, если можно так выразиться, Нос майора Ковалёва — литературный персонаж, в мраморе увековеченный и к стене прибитый. Вот и Екатерининский канал — *канавка*, как говорили во времена Гоголя и Достоевского. И вдоль канавы с её чугунной решёткой мы идём по гранитным плитам от Вознесенского моста до Кокушкина. Там, на ходу или остановившись, можно бросить взгляд через канал — за Кокушкиным мостом уходит вдаль Столярный переулочек, и лично мне всегда вспоминается: в переулке, в доме на углу со Средней Мещанской, жил Ф. М. Достоевский, и на том же перекрёстке, в доме Иохима, он поселил своего литературного героя Раскольникова.

Столярный значился когда-то улицей, а почему, не знаю, его понизили, так сказать, в чине, разжаловали в переулочки?

Сразу за мостом одним боком на Столярный переулочек выходит и фасадом вдоль канала тянется большое жилое здание. Этот дом я знаю, это *дом Зверкова*. Он и по сегодняшним меркам преогромный, про него так и хочется сказать: экая машина! В 1829–31 годах в зверковской *машине* квартировал Николай Васильевич Гоголь.

### **Никого! — одни бабы, купцы, чиновники и дамы с говорящими собачками**

Сам Гоголь назвал означенное строение не *машиной*, а *машиной*. По крайней мере, так у него выразился Аксентий Иванович Поприщин в «Записках сумасшедшего»: экая машина! — когда, проследив за двумя дамами с говорящей собачкой, он выяснил, что их квартира на пятом этаже в доме Зверкова.

Гоголь тоже жил наверху, под самой крышей. В сентябре 1830 года, 29-го числа, он пишет *бесценнейшей маминьке*: «В письме вашем между прочим беспокоитесь, что квартира моя на пятом этаже. Это здесь не значит ничего, и, верьте, во мне не производит ни малейшей усталости. Сам государь занимает комнаты не ниже моих; напротив, вверху гораздо чище и здоровее воздух».

Гоголь рассказывает матери о делах на службе — в Департаменте уделов: «Жалованья мне хотя и не прибавили, однако ж обнадеживают, что с нового года дадут». Он сообщает коротко о сентябрьской погоде в Петербурге: «Погода испортилась, дождлива и сыра».

Случайно или не случайно, приключения чиновника Поприщина начинаются тоже в дождливый осенний день. Вспомним, что и как у Гоголя *буквально* написано — и про погоду, и про пятиэтажную *машину* на Екатерининском канале. При этом обратимся к первой публикации «Записок» в 1835 году в сборнике «Арабески» — ибо в последующих изданиях в текст вносились изменения. Из записи Поприщина от третьего октября мы узнаём, что шёл проливной *дожджик*, на улицах *небыло никого*. Правда, хотя и *никого*, Поприщин тут же сообщает о прохожих: «одне только бабы, накрывшись полами, да Русские купцы под зонтиками, да кучера попадались мне на глаза. Из благородных только наш брат чиновник плелся».

По этой картинке с бабами, купцами и кучерами можно предположить, что путь Поприщина где-то здесь и пролегал: по Мещанским, которых в те годы было три, по одной из Подъяческих, среди которых тоже есть Малая, Средняя и Большая, по Фонарному или Столярному переулку — по *серединным* петербургским улицам и переулкам, как назвал их Достоевский, прилегающим и тяготеющим к Сенной площади. И эти тесно застроенные кварталы, перевитые петлями Екатерининского канала, если посмотреть на карту, рассечены сверху вниз и наискось Вознесенским проспектом — на него рано или поздно выходили из своих углов и закоулков сочинитель Гоголь и придуманный им цирюльник Иван Яковлевич, поручик Лермонтов и его персонаж художник Лугин, снимавший квартиру в доме Штосса у Кокушкина моста, литератор Достоевский, живший в разные годы в Малой Мещанской, на Екатерингофском проспекте и прямо здесь на Вознесенском, и здесь же оставил свои следы Родион Раскольников, главный герой в романе «Преступление и наказание»...

Должно быть, и Поприщин проживал где-то здесь и, выйдя из дома, по дороге в свой департамент, он оказался на Вознесенском? Там он видит вдруг карету своего директора, в карете — прелестная *Директорская дочка*, лакей отворил для неё дверцы, она, *выпорхнув как птичка*, входит в модный магазин. Вряд ли *страсть к тряпкам* привела её *превосходительство* в Столярный, в Подъяческую или Мещанскую, где, по свидетельству Поприщина, запах капусты *валит из всех мелочных лавок*, где *подлые ремесленники напускают копоты и дыму из своих мастерских*.

Значительно позже по тексту, задним числом, выясняется, что Поприщин узрел предмет своей любви на Невском проспекте. Туда его занесло неизвестно откуда, непонятно как и зачем, там он прогуливался без какой-либо цели, хотя перед этим автор уверенно сообщил нам, что его герой отправляется на службу. Значит, это на главной петербургской улице *небыло никого* в тот октябрьский день? На Невском, по наблюдению *нормальных* людей, не только осенью в дождь, там в лютой зимний мороз не прекращается людское движение. Но это наше здоровое рассуждение, а в произведении Гоголя: *дожджик* и — никого, пустой Невский проспект. Правда — бабы ходят с задранными юбками. Почему с задранными? Они накрыли таким образом голову, чтобы *дожджиком* их не намочило. Постойте, у автора написано, что они *полами накрылись*, а не юбками. Знаете, если разбираться, на вопрос о *полах* многие ответят, что *полы* — это нижняя часть одежды, та часть, что ниже пояса или, если хотите, ниже талии...

Впрочем, разницу между полами, подолами и собственно юбками мы попытаемся установить чуть позже, а пока обратим внимание на чиновника — *из благородных* на пустом Невском проспекте только он *плёлся*. Простите, не *он*, а *они*. У Гоголя написано: *наш брат чиновник плелся* — глагол в единственном числе, но *наш брат* предполагает весь класс чиновников, разве нет? Если *наш брат чиновник* угодлив перед начальством и при возможности *обчистит* просителя так, что одну рубашку оставит на нём, мы понимаем, что это характеристика всех чиновников. К тому же они волокиты почище военных чинов: приударив за смазливой барышней, наш брат чиновник, по утверждению Поприщина, *неуступит никакому*

*офицеру*. Так что, выходит, Поприщину попадается на глаза то один, то другой — несколько чиновников, плетущихся в свои департаменты. Но, снова обратившись к тексту, я вижу, что ошибаюсь: Гоголь использует *наш брат* по отношению к одному человеку:

«Из благородных только наш брат чиновник плелся. Я увидел его на перекрестке. Я как увидел его тотчас сказал себе: эге! нет голубчик, ты не в Департамент идешь, ты спешишь вон за тою, что бежит впереди и глядишь на ея ножки. Что это за бестия наш брат чиновник! Ей Богу неуступит никакому офицеру».

Что-то у автора с русским языком и с мышлением не в порядке. Он объявил, что на улицах пусто, и тут же стал перечислять: вот бабы идут, накрывшись полами, вот русские купцы под зонтиками, вот кучера, вот на перекрестке плетётся *наш брат чиновник*, и некая барышня бежит куда-то под проливным дождём. Бежит она *впереди* — похоже, спасаясь от *нашего брата*, за нею спешащего со взглядом, устремлённым на её ножки. Так он плетётся, или он спешит? И как он может разглядеть ножки, если у неё платье до земли, как все женщины носили в то время? Или она, как те бабы, *накрылась полами* своего платья, голову спасая от дождя, но обнажив часть тела ниже талии для того же дождя и нескромных взглядов? Это не сумасшедший писал? Ах, да, действительно! — это ведь *записки сумасшедшего*.

### Путь от Невского проспекта до Зверковской машины

Потом, после баб и остальных перечисленных особ, Поприщин видит директорскую дочку, потом мимо него проходят две дамы с говорящей собачкой... Собачки, Меджи и Фидель, знают друг друга и даже переписываются, следовательно, их хозяйки знакомы. Значит, дамы, за которыми направился Поприщин, тоже *из благородных*. Вас не удивляет? — в отличие от её *превосходительства* в экипаже с лакеем, они, старушка и молоденькая, проделывают очень долгий путь по Петербургу не в карете, не на извозчике, а пешком — невзирая на осеннюю *дождевую пору*. В тот день было не только сыро, но и холодно: вспомним, что выходя из дома, Поприщин надел шинель. А вышел он, повторяю, с целью идти на службу, в свой департамент, — где надеялся выпросить у казначея *хоть сколько-нибудь из жалованья вперед*. В пределах одного параграфа Гоголь забыл, куда и зачем отправил своего героя, и вместо работы Поприщин праздно слоняется по Невскому проспекту — с зонтом, но почему-то его не раскрывая.

Гоголь пишет, в смысл собственных предложений как будто до конца не вникая, противоречий не замечая, о географической и логической состыковке не заботясь... Или так задумано? — намеренно без логики, без состыковки, дабы сообщить о рассеянности Поприщина, уже граничащей с безумием. Повествование ведётся от первого лица, и, помните, Поприщин при первом же знакомстве сообщает, что начальник отделения давно делает ему замечания: «у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой». И сам Аксентий Иванович признаётся доверительно читателям: «с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых ни кто еще невидывал и неслыхивал».

Я сохраняю по возможности авторское написание — по возможности, ибо я уже не стану, переписывая текст из «Арабесок» 1835 года, сохранять, например, вышедшие из употребления *яти* и *еры*.

Возвращаемся к вопросу о *машине*. Поприщин следит за дамами. Его, в отличие от *нашего брата чиновника*, плетущегося беглым шагом за барышней ради её ножек, не дамы заинтересовали, у Поприщина в мыслях — Фидель, говорящая собачка:

«Пойду-ка я, — сказал я сам себе, — за этой собаченкою и узнаю, что она и что такое думает. Я развернул свой зонтик...»

Вот видите: до этого, получается, Поприщин, имея при себе зонтик, не открывал его, разгуливая под дождём — под *проливным дожджиком*, как написано у Гоголя.

Последуем за ними с Невского проспекта на Екатерининский канал — их путь лежит как раз туда, где мы стоим у Кокушкина моста, созерцая *Зверковскую машину*.

«Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, повертели в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом. Этот дом я знаю, — сказал я сам в себе. — Это дом Зверкова. Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько приезжих! а нашей братьи чиновников как собак, один на другом сидит».

Здесь вместо *наш брат чиновник* Гоголь использует для разнообразия *наша братья чиновники...* Или нужно сказать *наша братья чиновников*? Ладно, читатель схватывает смысл: Поприщин говорит о чиновничьей братии, к которой сам принадлежит, мы догадываемся, что в доме Зверкова чиновников очень много — хотя *собаки* не являются показателем многочисленности и многолюдности, в отличие, скажем, от *муравьёв* или *сельдей в бочке*. Автор смешал и перепутал здесь грубоватые разговорные выражения — про *собак нерезанных* и дураков: *дурак на дураке сидит и дураком погоняет*. Ах да, это не автор, это его герой валит слова в кучу без разбору! Правда, Гоголь представляет своего героя ревнителем правильной речи; вспомним, как канцелярист Поприщин критикует чужой стиль — при чтении писем, украденных у Фидель:

«Письмо писано очень правильно. Пунктуация и даже буква *ять* везде на своем месте. Да эдак просто ненапишет и наш Начальник Отделения, хотя он и толкует что где-то учился в университете». По поводу другого послания Аксентий Иванович высказывается неодобрительно: «Чрезвычайно неровный слог.»

Последняя реплика словно в адрес сочинителя «Записок» с его путаным изложением, с его *дефектами слога...* Так лично я считаю: путаное у Гоголя изложение, чрезвычайно неровный слог. Но, не желая попасть в очернители великого нашего классика, отгоржусь цитатой из Андрея Белого, заявившего однажды: «Современники Гоголя, дивясь красочному содержанию его творений, подчёркивали дефекты слога до... неумения писать по-русски». Белый, впрочем, здесь не своё мнение высказывает, а кивает на *современников*. Возможно, он имеет в виду публикацию в «Сыне Отечества» за 1839 год, где, в девятом томе, *неизвестная особа* иронизировала: «Слог автора — огонь, и какое при этом знание языка, особливо там, где автор пренебрегает ничтожные законы школьной грамматики и ферульной логики». Отсутствие у Николая Васильевича *ферульной*, то бишь строгой, логики, мы только что наблюдали в зачитанных отрывках, а незнание *школьной грамматики* подтверждает П. А. Кулиш, признанный авторитет в вопросах о жизни и творчестве Гоголя: «Будучи одним из слабейших воспитанников в Гимназии, не обладая даже и умеренным запасом сведений по какой бы то ни было отрасли знания, не умея даже написать без орфографических ошибок страницы...»

Обратите внимание: Столярный переулок в «Записках сумасшедшего», вышедших в 1835 году, значится улицей, хотя в краеведческих материалах я читал, что его *разжаловали* в переулки в начале 19-го века; и на плане Санкт-Петербурга за 1840 год это всё ещё Столярная улица: начинается от Большой Мещанской, пересекает Среднюю и Малую Мещанскую, выходит прямо на Кокушкин мост и за мостом становится Кокушкиным переулком. На углу которого мы сейчас и находимся. Вот мы, а вон дом Зверкова наискосок от нас за канавой...

Не будем, однако, отвлекаться, мы же не краеведением сейчас занимаемся. А чем? Видимо, литературоведением. И что говорят литературоведы, уже исследовавшие биографию и творчество великого писателя Н. В. Гоголя вдоль и поперёк? Они много всего говорят и пишут, особенно много и пространно о том, что Н. В. Гоголь — великий писатель, и какое огромное влияние оказал он на русскую и мировую литературу, и в моё советское время, когда я учился в школе и университете, Гоголя с его «Ревизором» и «Мёртвыми душами» усиленно выставляли обличителем самодержавия и крепостничества, а теперь, как я вижу, его пытаются представить самым церковным русским писателем, называя «Размышления о Божественной Литургии» чуть ли не лучшим его произведением. Но по поводу *машины*, посмотрев во многих изданиях, в том числе в четырнадцатитомном «Полном собрании сочинений», я ответа не нашёл: почему же дом Зверкова — *машина*, по какой причине Гоголь назвал его *машиной*, как нам понимать эту *машину*, что она и что такое значит?

Может быть, имеет место опечатка? В первом издании «Арабесок» две дамы, хозяйки Фидель, добравшись до Кокушкина моста, остановились *беред* домом. Исправим, если вы не возражаете: *перед* домом. Я воспроизвёл сейчас без буквы *ять* слова *Мещанская*, *Зверков* и *приезжие*. Я убрал все *еры*. Гоголь пишет о *Русских* купцах, я, пожалуй, заменю прописную букву на строчную: *русские* купцы. Один раз Поприщин высказывается: *сказал я сам себе* — по поводу собачонки, и тут же, через предложение: *сказал я сам в себе* — по поводу зверковского дома. Давайте сделаем одинаково: *сказал я сам себе...*

Собственно, такие изменения, или, если хотите, исправления, давно сделаны в разные годы разными издателями и редакторами. Почему во всех изданиях оставляли, и почему до сих пор

печатают: *машина*? Дом, построенный в своё время для купца И. М. Зверкова, — не механизм. Если его с чем-либо сравнивать, то с муравейником, с Ноевым ковчегом... Для этой жилой громадины подходит только *махина*.

### Про зверя Зверкова и свалку-собачник

Может быть, Поприщину, которому мерещились говорящие собачонки, дом показался громадным механизмом с шестерёнками и пружинами внутри кирпичных стен? Нет, Гоголь просто ошибся. Я неправильно выразился: в то время были в ходу два написания, *машина* и *махина*, они передавали один и тот же смысл. Гоголь выбрал: напишу *машина*, — имея в виду, что он сообщает о размерах того дома, где сам жил некоторое время, и где живут придуманные им дамы. Сегодня нужно изменить написание, следует печатать *махина*, чтобы современный читатель понимал: дом Зверкова — это громадина!

«Записки» на протяжении почти двух веков заново набирались в типографиях для переиздания, они редактировались, их читали в школах и университетах — по учебной программе, разработанной педагогическими светилами, к «Запискам» составлялись примечания, но как будто никому гоголевская *машина* не казалась ошибкой или опечаткой, никто не предложил: для указания на большие размеры в наше время следует использовать написание *махина*... Может быть, мне, как сумасшедшему Поприщину, только *мерещится*, будто здесь неправильность? А когда все довольны, особенно педагогические и литературоведческие светила, и только тебе одному что-то бросается в глаза и режет слух, то как бы тебя тоже не записали в сумасшедшие!

Кстати, Мещанская улица, в «Записках» упомянутая, в 1918 году, после Революции, была переименована в Гражданскую. В переводе на английский язык с названием *Гражданская* справиться легко, а вот с именованием *Мещанская* будут затруднения...

Почему вдруг я заговорил про переводы? Поскольку я учился когда-то на английской филологии, осталась привычка сопоставлять и рассуждать, как то или иное русское слово лучше передать по-английски или, наоборот, как английские слова и фразы лучше выразить по-русски. Я вспоминаю старый перевод «Записок» — чтение такое же интересное, как и знакомство с оригиналом: переводчик внёс, если можно так выразиться, дополнительное безумие в гоголевские «Записки сумасшедшего». Сами посудите, вчитавшись в отрывок из означенного произведения, как его напечатали в 1916 году в Англии под заголовком «Memoirs of a Madman» — в переводе Клода Филда. С того места, где Поприщин решил следить за Фидель:

«I will,— I thought,— follow that dog in order to get to the bottom of the matter. Accordingly, I opened my umbrella and went after the two ladies. They went down Bean Street, turned through Citizen Street and Carpenter Street, and finally halted on the Cuckoo Bridge before a large house. I know this house; it is Sverkoff's. What a monster he is! What sort of people live there! How many cooks, how many bagmen! There are brother officials of mine also there packed on each other like herrings».

Разве не забавно? *Гороховая* улица стала *Бобовой*, а *Кокушкин* мост стал *Кукушкиным* — на него дамы, по ошибке переводчика, вышли и на нём остановились. Видите: для *Мещанской* улицы Клод Филд не нашёл ничего лучше, чем *Гражданская* — как она сейчас, в наши дни называется, а, по идее, нужно было как-нибудь... даже не знаю: *Bourgeois Street*, или, наверно, лучше *Burgher Street*. *Приезжие* стали у Филда *bagmen* — а по какой причине? *Bagman* в британских словарях объясняется как *travelling salesman*, что соответствует русскому *коммивояжёр*. И, что любопытнее всего по теме нашего исследования, — по-английски Поприщин восклицает: *What a monster he is!* — То есть: *Какое он чудовище!* Только, смотрите, не дом назван *чудовищем*, а Зверков — человек, этим домом владеющий. Местоимением *he* замещают одушевлённое существительное, а дом — неодушевлённый, заменой ему было бы местоимение *it*. Может, Клод Филд принял строение за некий человеческий механизм: кухарки в нём, приезжие, они же коммивояжёры, множество чиновников; может, переводчик *одушевил* жилое здание?

Нет, господин Филд не понял гоголевской *машины*. Он подумал, что здесь, в целом, какой-то выпад в адрес домовладельца. В оригинале Гоголь назвал хозяина *Зверковым* — наверно, это

говорящая фамилия, с намёком на то, что домовладелец — зверь, чудовище. Игра слов, так сказать, и переведём эту *игру* на английский: какое чудовище этот Зверков! Переводчик предался домыслам, исказил оригинал, и англоязычным читателям, если они вдумчивые, не понять, почему великий писатель Гоголь обозвал какого-то Сверкоффа *чудовищем* — без видимой причины и без каких-либо объяснений. Впрочем, большинство читателей просто возьмут глазами по тексту, в смысл особо не вникая... Да, а то, что Клод Филд заменил *собак* на *селёдок* (herrings) — верное решение: чиновников множество в доме Зверкова, их там набилось — как сельдей в бочке!

Нам кажется, и многие из нас даже уверены, что с течением времени, в связи с *прогрессом* и как следствие *прогресса* мы знаем всё больше и больше о прошлом, и, главное, мы всё лучше понимаем прошлое и правильное судим о нём. Старинные и старые произведения переиздаются, к ним делаются новые примечания, эти произведения заново редактируются и заново переводятся — и уже само количество накопившихся публикаций и примечаний как будто гарантирует сегодняшнему читателю более точное представление о том или ином авторе и его произведениях: все неверные толкования к нашему времени отвергнуты, оригинал и переводы выверены, все неясные места получили единственно верное объяснение...

Ошибочная точка зрения. Это даже и не точка зрения, а общее такое ощущение, или, если хотите, общее заблуждение... Сравним русский оригинал с другим английским переводом под заголовком «The Diary of a Madman», и, поскольку он значительно новее, мы невольно ожидаем более точной передачи гоголевского текста. Ещё раз начинаем с того места, когда, подслушав разговор собачек на Невском проспекте у дверей модного магазина, Поприщин принимает решение: «Пойду-ка я <...> за этой собаченкою и узнаю, что она и что такое думает». Я цитирую новый английский перевод по изданию 1972 года:

«So I said to myself,— I'd better follow this dog and find out who she is and what she's thinking about.— I unrolled my umbrella and followed the two ladies. We crossed Gorokhovaya Street, turned into Meshchanskaya Street, then Stolyanaya Street, until we got to Kokushkin Bridge and stopped in front of a large house.— I know this house,— I said to myself,— it's Zverkov's.— What a dump! Everybody seems to live there: crowds of cooks, foreigners, civil servants. They live just like dogs, all on top of each other».

Будем считать *Stolyanaya Street* опечаткой — двойной, ибо в примечаниях мы обнаруживаем точно такое написание для Столярной улицы. В пояснении сообщается, что Гоголь жил одно время в той части Петербурга, где находятся перечисленные Гороховая, Мещанская и *Столярная*, а по поводу зверковского *высокого дома* (tall building) утверждается, кстати, что он больше не существует. Но главное в том, что новый переводчик, Рональд Уилкс, тоже не понял смысл гоголевской *машины*. У него дом Зверкова стал *свалкой* (dump). Почему? Ну, наверно, потому что в оригинале говорится о множестве кухарок, приезжих, служащих — живут они, как собаки... Собаки? Так написано у Гоголя: «нашей братья чиновников *как собак*, один на другом сидит»; русский читатель, хотя и не каждый, догадывается или чувствует, что здесь подразумевается *муравейник* или *бочка, набитая сельдями*, а не *собачник*: в доме Зверкова великое множество чиновников, их тут — как *собак нерезаных*. Но человек нерусский подумал, будто автор называет жизнь чиновников в этом доме собачьей, ему нарисовалась картина нечистого, тесного и злобного совместного проживания: *What a dump!* — Какая свалка! Какая помойка, где квартиранты *живут, как собаки: they live just like dogs*.

### Работа над текстом

Не хочу ли я сказать, что русский литератор должен держать в голове: как моё слово отзовётся на иностранных языках? И для этого, дабы быть понятым за границей, ему следует подбирать определённые слова и выражения, которые будет легко перевести, которые без искажения смысла перейдут в иностранный перевод — для англичан, французов, немцев... Нет, литератор не должен брать в голову, как его переделают, а то и переврут для иностранных читателей, но хорошо бы самому вникать в смысл того, что он пишет на русском языке для русских читателей — пусть даже его герой и сумасшедший. Литератор Гоголь должен был перечитывать написанное и спрашивать самого себя: Николай Васильевич, ваш чиновник или *плетётся*, или *бежит* — одно из двух. И если у вас *русские купцы под зонтиками*, указание на

их национальность, видимо, что-то существенное подразумевает. А что именно? Только русские купцы выйдут на улицу в дождь, иностранные будут сидеть дома? Или только русский купец пользуется зонтом, а иностранный без зонта обходится в дождливую погоду? Потом вы пишете, что две дамы, за которыми следил Поприщин, дойдя до Кокушкина моста, *остановились перед большим домом*. Они, видимо, ищут нужный им адрес? Они, похоже, идут первый раз в гости к жильцу в этом доме и засомневались: в какой подъезд входить? А, они сами живут в доме Зверкова! Тогда зачем им было останавливаться? Жилец подходит к своему дому, сразу входит в свой подъезд и поднимается в свою квартиру...

Я поставил себя на место внимательного редактора, который задал бы эти и множество других вопросов, — по тексту произведения, которое принёс для публикации сочинитель Н. В. Гоголь. Даже не собираясь особо зверствовать или цепляться, я всё-таки попросил бы автора как-то увязывать одно с другим: ваш герой торопился на службу, а потом неторопливо гуляет по городу; двух благородных дам с бедной собачкой вы гоняете через весь город под дождём и по лужам... А эти *бабы*, давайте попробуем разобраться: они, что, в шинелях, в долгополых пальто? Не в халатах же? *Пóлы* имеются у распашной одежды, у той, которая из двух половин сшита, правой и левой. *Полы* халата, правая с левой, запахиваются, *полы* пальто застёгиваются... *Полóй* можно, в принципе, накрыться, если предварительно шинель расстегнуть, потом набросить нижний край одной *полы* или нижние края обеих *пол* на голову. Со стороны это будет выглядеть нелепо. Даже если не женщина, а мужчина, например, ваш Поприщин, надевший в тот дождливый день шинель, шествовал бы по улице в таком виде, с *полóй* или обеими *пóлами*, закинутыми на голову, его бы приняли за сумасшедшего. Но *бабы* у вас не в шинелях, Николай Васильевич, вы сначала, как видно по вариантам рукописи, написали, что они накрылись *полами платьев*, потом вы *платья* зачеркнули. Извините, у внимательного редактора, у дотошного читателя, у иностранного переводчика возникает предположение, что ваши *бабы* идут по улице, прикрывшись от дождя не иначе как *подолами*, забросив юбки на голову. Вообще, слово *пóлами*, по написанию схожее с *полáми*, невольно заставляет вспомнить *полы*, по которым мы ходим, есть также мужской и женский пол: лучше избегать в художественном произведении такого многозначия и, я бы даже сказал, неблагозвучия. И остальные дефекты слога тоже желательно устранить: я уже говорил по поводу *нашего брата чиновника* то ли в единственном, то ли во множественном числе, по поводу *собак, друг на друге сидящих*...

Хотя я заявил себя внимательным, а не придиричивым редактором, мне скажут: а вы всё-таки придираетесь, батенька. Дальше вы прицепитесь к тому, что у автора говорящие собачки, напомните ему и всем, что собаки не могут говорить на человеческом языке и тем более письма писать друг другу! Говорящие собачки меня отнюдь не смущают. И я не буду задавать *убийственный* вопрос, который задавали, как я помню, тупые редакторы в советское время, получив в руки что-нибудь вроде «Записок сумасшедшего»; сделав умный вид, тупой редактор спрашивал у начинающего автора: Что вы хотели сказать своим произведением? — Николай Васильевич Гоголь не смог бы дать внятного объяснения, и ему бы вернули рукопись — и рукопись «Записок», и рукопись «Носа», и рукопись «Шинели», и он пошёл бы домой с убитым видом. Николаю Васильевичу сильно повезло, что он жил в царское время при крепостническом строе и творил в условиях николаевской цензуры, известной своей строгостью. Если бы в советский период Гоголь создал свои сатиры и фантазии — исходя из коммунистической действительности, изобразив советских Хлестаковых, Чичиковых, Плюшкиных, Ноздрёвых, Сквозник-Дмухановских, опирающихся на верноподданных Держиморд, его произведения ни за что не появилось бы в печати. Отвергнутый редакторами всех советских издательств, он не смог бы напечататься и *за свой счёт*, подобных лазеек коммунистическая власть не допускала; это при жёсткой николаевской цензуре начинающий литератор Гоголь-Яновский, прячась под псевдонимов В. Алов, отнёс своё стихотворное произведение «Ганц Кюхельгартен», *идиллию в картинах*, в типографию Александра Плюшара, где заказчику В. Алову, то бишь Гоголю-Яновскому, за милую душу, а точнее, за триста рублей, напечатали в короткий срок, с быстрого одобрения цензора, оплаченное количество экземпляров указанного произведения, в художественные особенности «Ганца Кюхельгартена» не вникая и не озадачиваясь вопросами: что хотел автор сказать своим «Ганцем», кому и зачем он адресует свою *идиллию*...

По поводу *зверковской машины*, отнюдь не придираясь, а желая устранить очевидные огрехи и сделать произведение понятным для современников и потомков, я бы предложил: Николай Васильевич, давайте не будем упоминать имя домовладельца. Сегодня домом владеет купец Иван Матвеевич Зверков, вам и многим в Петербурге известный, но через какое-то время собственник может поменяться. Кстати, как сообщает «Адрес-календарь санктпетербургских жителей», напечатанный в 1844 году, дом, о котором мы ведём речь, под № 62 по Екатерининскому каналу и под № 15 по Столярной улице, уже принадлежит купцу А. П. Жадимировскому. А лет через восемьдесят, Николай Васильевич, частную собственность отменят, всё у всех отнимут, то есть национализуют, и станет ваша *машина* большим коммунальным хлевом, где в каждой квартире будет жильцов вот уж точно как собак нерезаных, вместо домовладельца назначат управдома, тупого, но члена большевистской партии, на жестяной табличке на стене напишут: номер такой-то по каналу, который перестанет быть Екатерининским, — ему дадут имя писателя Грибоедова, который к *канаве* отношения не имел, но был вроде как демократ и чуть ли не революционер, поэтому ему такая честь — каналу, а не Грибоедову, и будущие ваши читатели, Николай Васильевич, будут спотыкаться, встречая в ваших *сумасшедших записках* фамилию *Зверков*: кто такой, зачем он здесь упомянут? И ещё, Николай Васильевич, давайте сразу напишем *машина* вместо вашего *машина*. Чтобы и в ваше время и потом было понятно, что дом у Кокушкина моста — не механизм, а необыкновенная громадина.

### Нужна цензура или редакция?

Повторяюсь: в гоголевское время в России была строгая цензура. Авторы и издатели постоянно держали в мыслях, готовились, боялись, ругались: что скажет по поводу очередного произведения цензор, дозволит или не дозволит печатать, сколько слов или кусков будет вымарано? И когда слово цензора имеет решающее значение, роль редактора ступшевывается: цензура разрешила, так бежим и несём скорее в типографию!

Первоначально в разбираемом отрывке за *кухарками* у Гоголя следовали *поляки*: в доме Зверкова *сколько кухарок, сколько поляков*. Цензор рассудил, что не следует напоминать, пусть и косвенно, о народе, который восстал в 1830 году против русской монархии, отрёкся от Николая I, целый год вёл вооружённую борьбу против правительственных войск...

Гоголь писал А. С. Пушкину перед выходом «Арабесок»; в известных мне изданиях составители и редакторы относят письмо к концу декабря 1834 года — началу января 1835 года.

«Вышла вчера довольно неприятная зацепка по цензуре по поводу Записок сумасшедшего. Но слава богу, сегодня немного лучше. По крайней мере я должен ограничиться выкидкой лучших мест. Ну да бог с ними! Если бы не эта задержка, книга моя может быть завтра вышла...»

Я привёл письмо в том виде, как оно было напечатано уже в советское время — в «Полном собрании сочинений» Н. В. Гоголя (издаваемом в 1937–52 годы), и советская цензура, в противоположность царской, требовала, чтобы слово *бог* и его производные в обязательном порядке печатались со строчной буквы: *бог, боже мой, ей-богу...*

Гоголю пришлось заменить *поляков* на *приезжих*. Честно говоря, просмотрев предписания цензора, я не считаю, что Гоголю пришлось выбросить *лучшие места*. Если бы я был цензором... Простите, если бы я был редактором, я бы тоже возразил против *поляков* — и вовсе не по политическим соображениям. Я бы сказал: Николай Васильевич, если вы хотите изобразить дом Зверкова неким международным Ноевым ковчегом, тогда понятно перечисление нескольких национальностей: например, сколько в доме *немцев, чухонцев, поляков, хохлов...* простите, *малороссов!* У вас Ноев ковчег, как я понимаю, из кухарок, чиновников — в этом ряду поляки неуместны, в этот ряд вписываются жильцы с другими занятиями и профессиями, например, приказчики, купцы, курьеры, цирюльники. Кстати, вы говорите, что дамы *взошли в пятый этаж* — те две, у которых говорящая собачка; собачки, которые обмениваются письмами, — замечательная придумка, а то, что *дамы* шлёпают под дождём от самого Невского проспекта по Гороховой и Мещанской до Кокушкина моста... Впрочем, бог с ними, пусть шлёпают, если вам так захотелось, но вот что точно нужно исправить: где-то через месяц после первой встречи с ними Поприщин идёт в дом Зверкова, чтобы *увидеть Фидель и допросить её*, он, как вы пишете, *пробрался в шестой этаж* и позвонил в колокольчик. Давайте сделаем

одинаково: в обоих случаях этаж пусть будет *пятый*. Вам хочется шестой? Ладно, только пусть будет и здесь и там одинаково.

Мне снова скажут: вот пристал задним числом к Николаю Васильевичу! Хуже любого цензора, ей-богу. Здесь — святое, здесь гений водил пером, и нужно взирать со священным трепетом, а не лезть с поправками и переделками в сакральное... Нет, лично я только рассуждаю — в сослагательном наклонении: было бы лучше исправить *шестой* этаж на *пятый*, и вместо *машина* печатать *машина*. Что касается восклицаний со словами *святое*, *священное* и особенно *сакральное* — по поводу художественного вымысла, они выдают человека недалёкого, который только и умеет восклицать, не имея ничего сказать по существу. Кстати, в «Полном собрании сочинений», на которое я выше сослался, советские редакторы, не впадая ни в сослагательное наклонение, ни в священный трепет, переделали «Записки сумасшедшего» — вернув их частично к тому виду, в каком рукопись существовала до цензурной чистки. До чистки царской цензурой. По каким соображениям? По тем, как я понимаю, что, с точки зрения советской цензуры, или, если хотите, редактуры, царские цензоры подошли к «Запискам» предвзято и, зажимая свободу слова и свободу мысли, исказили нашего великого Н. В. Гоголя, обличавшего в своих произведениях *бюрократическую систему России, крепостничество, социальные пороки*... Таким образом, в указанном «Собрании сочинений» *приезжие* снова стали *поляками* — с объяснением, что это *более подлинное чтение*, а царская цензура подвергала гонениям всё, что было *связано с Польшей после 1831 года*. Лично я остаюсь при своём мнении: политику сюда не вмешивать, и из двух вариантов выбрать более логичный: *сколько кухарок! сколько приезжих!*

Так я, похоже, защищаю или, по крайней мере, не возражаю против цензуры, если она берёт на себя роль вдумчивого редактора? Нет, цензура художественных произведений вообще не нужна, я только привёл один пример с приемлемой, как я считаю, заменой *поляков* на *приезжих*; хотя, более удачным было бы продолжить перечисление *купцами, курьерами, стряпчими*... А вот другие цензурные переделки повредили «Запискам сумасшедшего». Например, в рассуждениях Поприщина о том, что женщина любит чёрта, цензор... Встал на защиту *прекрасного пола*, не согласившись с подобным утверждением, *прекрасный пол* порочащим? Узрел намёк на суеверные представления о ведьмах, вступающих в плотские сношения с дьяволом? Да нет, цензор не стал возражать против женской любви к чёрту, он всего лишь заменил *звезду* на *фрак*.

Напомню, Поприщин, уже явно свихнувшийся, сделал следующее открытие:

«О это коварное существо женщины! Я теперь только постигнул что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, нешутя. Физики пишут глупости, что она то и то — она любит только одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете что она глядит на этого толстяка со звездой — совсем нет, она глядит на черта что у него стоит за спиной. Вон он спрятался к нему во фрак. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него. Выйдет».

Я уже не буду цепляться к грамматике и смыслу: женщины, во множественном числе, наверно, не *коварное существо*, а *коварные существа*; кивают головой, при этом кому-нибудь, а не к кому-нибудь, тогда как пальцем манят; женщина кого всё-таки жаждет в мужья, толстяка со звездой, или чёрта, спрятавшегося к нему во фрак? Остановлюсь на цензурной переделке, искажающей задумку автора: в рукописи у Гоголя чёрт прячется в звезду, именно звезда на фраке, свидетельствующая о высоком чине, положении и, возможно, большом богатстве, привлекает женщину. Цензор, очевидно, нашёл предосудительным то, что нечистая сила угнездилась в государственной награде: за подобными шутками, при желании, можно усмотреть *политическую критику*, уничтожение государственного устройства и сложившегося порядка вещей... В этом случае возвращение к первоначальному замыслу оправдано и не должно вызывать возражений. В полном собрании сочинений советские редакторы вернули *звезду*, заодно добавив или расставив по правилам знаки препинания: «О, это коварное существо — женщины! <.> Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездой? совсем нет, она глядит на чорта, что у него стоит за спиной. Вон он спрятался к нему в звезду.»

Означенное советское издание считается академическим. Любопытно, как у *академиков* напечатано про баб с задранными подолами — простите, полами? Сказано так: на улицах никого и... «одни только бабы, накрывшись полами платья, да русские купцы под зонтиками, да

курьеры попадались мне на глаза». Почему курьеры? — мы читали про кучеров. Полы бывают у шинели, у халата, у распашной одежды, как мы установили, а здесь написано *платье*, так что картина именно такая, какую дорисовывает наше воображение: бабы подняли и закинули на голову подола своих юбок...

Извините, я перепутал и не оттуда цитирую. Я зачитал из «Записок», которые вышли в совершенно уважаемом издательстве, но всё-таки не в академическом, и это две разных в поле ягоды. В собрании сочинений советского периода *платья* нет, только *полы: накрывшись полами*. Полами чего? — я снова задаю невольный вопрос, но ответить на него некому: автора давно нет в живых. В одном из вариантов у Гоголя было, напоминаю, *накрывшись полами платьев*, и некоторые издатели, как мы видим, что-то из гоголевских черновиков перенесли в основной текст — и *курьеров* вместо *кучеров*, и *платья*, правда, сделав из множественного числа единственное...

Кстати, к вопросу о женском платье или хоть платьях: вспомним заодно барышню, которая бежит, а *наш брат чиновник* за ней поспешает; в гоголевских набросках мы находим объяснение, каким образом он мог любоваться её ножками, тогда как юбки в те времена волочились по земле. Первоначально автор написал, что барышня «приподняла немного свое платье и показала в мгновение икры свои». Что если и эту черновую заготовку перенести в основной текст? Тогда исчезнет недосказанность, каждому читателю станет понятно, почему *наш брат чиновник* кинулся за ней, забыв про свой департамент: барышня приподняла юбку, дабы её не замочить, ибо *дожжик* на улице, и тем самым она *икры свои* продемонстрировала в мгновение... Или не следует переносить? Гоголь отверг этот вариант с *икрами* и, по-моему, правильно сделал. По поводу баб, накрывшихся полами, он, конечно, не имел в виду подола и юбки, он подразумевал полы какой-то *верхней* одежды — ведь осень, и *дожжик*, и Поприщин в шинели, так что и они, бабы, должны быть в каких-то накидках, мантильях... Или, думаю, в салопках. Русский читатель может предполагать, гадать и делать какие-то разумные выводы, тогда как иностранным переводчикам в данном случае трудно о чём-либо догадаться, и у них бабы шествуют по улицам Петербурга именно с юбками, закинутыми на голову. Возьмите французский перевод, сделанный в 1845 году, ещё при жизни Гоголя: «Cependant je rencontraï beaucoup de femmes qui se couvraient la tête avec le pan de leurs jupes» — Аксентий Иванович сообщает, что встретил *многих женщин*, которые накрыли *голову полами своих юбок*, — хотя, как мы знаем, у Гоголя в оригинале не сказано ни про головы, ни про юбки.

И получается некая неловкость — вернее, нескромность, тогда как Гоголь нескромности себе не позволял ни в этом, ни в других произведениях. Когда у Поприщина разыгрывается любовное воображение, когда он мысленно посещает спальню прелестной директорской дочери, автор деликатно останавливает своего героя и прерывает полёт его фантазии: молчание! «Хотелось бы заглянуть в спальню... там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на небесах нет. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она становит вставая с постели свою ножку, как надевается на эту ножку белый как снег чулочек... ай! ай! ай! ничего, ничего... молчание».

Несколько увлечшись женскими юбками и ножками, мы забыли тему своего исследования, а темой является *машина*. Сегодня мы различаем два слова с разным написанием и разным значением: *машина* и *махина*. Заглянув в четвёртый том «Словаря Академии российской», вышедшего в 1789–94 годах, мы узнаем, что в те времена было два написания одного и того же слова, имевшего одно значение: «Махина, машина — всякое орудие служащее к удобнейшему движению тел с умалением силы или времени». В словаре приводятся производные, например, *махи́нѣст*, он же *маши́нѣст* — так называли изобретателя театральных машин...

Задав вопрос о нужности цензуры и редактуре, я как-то перешёл на другие темы, и не высказал до конца своё мнение. А мнение такое: цензура не нужна — официальная, государственная, с внушительным штатом ответственных работников, призванных не допускать что-либо в печать или охранять государственные тайны в печати, с немалыми денежными расходами на содержание этого штата. Не нужна просто потому, что она, цензура, никогда и нигде не добивалась поставленных перед нею задач и целей. Порнография, скабрёзности, непристойности, матерная брань как имели, так и имеют хождение; даже при самых строгих запретах их воспроизводили в печатном виде подпольно и продавали из-под полы, поскольку на

них имелся спрос. Вылавливание инакомыслящих и преследование политически неблагонадёжных ни в какую эпоху и ни в одной стране не предотвратили смятений, бунтов и кровопролития — происходящих вовсе не потому, что часть населения высказывала, писала, печатала или читала что-то, по политическим соображениям запрещённое. Редактура нужна для учебников и справочников, дабы в них отсутствовали ошибки, а что касается художественной литературы — её редактировать нет необходимости и смысла. Как прозаик или поэт сочинил своё произведение — так и печатать. Или не печатать, если издатель не считает произведение пригодным для публикации, в том числе по этическим или денежным соображениям. Даже по обсуждаемым отрывкам и отдельным словам видно, что, если взяться за литературную и грамматическую правку Гоголя, в «Записках сумасшедшего», да и в других его произведениях, потребуются существенные переделки; вмешательство редакторов и корректоров приведёт, допустим, к устранению языковых и смысловых нелепостей, и неясные места получат объяснение, только утратится что-то особенно гоголевское. Вообще, редактор присутствует, должен присутствовать, в голове сочинителя, ему подсказывая: даже если ты создаёшь ералаш в своём произведении, этот ералаш пусть будет продуманным и как следует прописанным — ералаш, но без нелепиц и без смысловых *дефектов*, как это ни странно звучит. Пусть с говорящими собачками, но чтобы было понятно, чем накрылись бабы, спасаясь от дождя, и кого всё-таки жаждет женщина себе в мужья, солидного мужчину со звездой на груди или чёрта, стоящего у него за спиной, а потом в этой звезде приютившегося?

### Орудие к удобнейшему движению тел

Слово *машина* пришло к нам из немецкого, или из французского, или, может быть, из английского и, может быть, через польский. Во всех указанных языках ударение падает на второй слог, и в «Словаре Академии российской», в первом его издании, знак ударения в *машине/махи́не* тоже на втором слоге. В качестве подтверждения приведём пример из литературы того периода; М. М. Херасков в поэме «Плоды наук» (1797) пусть топорно, но искренне прославляет развитие науки и техники:

Да жизнь бы наша течь безпечнее могла,  
Механика на то орудия дала;  
Она людей слагать машины научает,  
И тяжесть всей земли, как мнится, облегчает.

М. В. Ломоносов с его любовью ко всему научному и техническому писал об *огнедышащих машинах*, о *силе махин*; следующий пример взят из его «Письма о пользе стекла» (1752):

Европа ныне в то всю мысль свою вперила  
И махины уже пристойны учредила.

По этому двустипию и по следующему описанию морской баталии в поэме «Пётр Великий» (1761) видно, что Ломоносов предпочитал ударение на первом слоге.

От весел шум и скрип, свист ядр и махин рев  
Гласят противникам Петров и Божий гнев...

Вёсла шумят и скрипят, ядра свистят; под *махинами* здесь следует понимать военные орудия, пушки. Ударение перенесено на первый слог, возможно, ради ритма? Нет, Ломоносов навязывал русскому языку своё мнение: поскольку слово восходит к дневногреческому, нужно использовать форму *машина* (в которой тот же корень, что в *механике*), и ударением выделять первый слог, как в латыни: *máchina*. То есть давайте следовать написанию и ударению первоисточников, а не западноевропейским заимствованиям.

В оде «На взятие Измаила» (1790) поэт Г. Р. Державин, воспевая верноподданнически прозорливость Екатерины Второй, пишет и произносит *маши́на*:

Да месть всем в грудь нам не взойдет;

Пусть только ум Екатерины,  
Как Архимед, создаст машины;  
А росс вселенной потрясет.

Правда, у этого же поэта можно найти пример с ударением на первом слоге:

Иль смотрим, как вода с плотины с ревом льет  
И, движа машину, древа на доски делит...

Что сообщает по поводу значения и ударения второе издание — «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный»? В третьем томе (1814) напечатано: «Ма́хина <...> всякое орудие, служащее к удобнейшему движению тел с умалением силы или времени. *Изобрестъ какую махину*». Составители решили, что такое произношение всё-таки более правильное? Однако в прилагательном *махинный* (относящийся к *махине*) ударение у них на втором слоге. Чуть ниже в столбце обнаруживается *маши́на* — с ударением на втором слоге! — и нам сообщают: это *тоже что махина*, и что *маши́нный* следует понимать как *махинный*. Не задаваясь вопросом, намеренно указано разное ударение или по ошибке произошёл разницей, примем к сведению, что у *махины* и *машины* одно значение — *орудие*.

«Записки сумасшедшего» относятся к чуть более позднему времени, логика подсказывает, что следует заглянуть в академическое издание 1847 года, известное как «Словарь церковнославянского и русского языка». Но и там — единственное толкование: «Ма́хина <...> Тоже, что ма́шина». «Ма́шина <...> всякое орудие, служащее к увеличению силы и скорости движения как средств к исполнению работы».

Исходя из найденных словарных толкований, принимая во внимание примеры, взятые из литературы соответствующего периода, я вынужден признать, что моё утверждение не имеет оснований. Гоголь, называя дом Зверкова *машиной*, не имел в виду его громадные размеры, он, судя по всему, использовал то единственное значение, которое, как мы убедились, сверившись с академическими словарями, имелось в то время у этого слова: механизм из шестерёнок, маховиков, клапанов, гаск — орудие для ускорения и облегчения работы... А почему жилое строение на Екатерининском канале вблизи Кокушкина моста представлено у сочинителя Гоголя орудием? Видимо, так сочинителю захотелось. Просто он решил так выразиться.

### Русь-машина, куда ж несёшься ты?

В другом произведении сочинителю, тому же Н. В. Гоголю, захотелось и он сделал главную реку Малороссии шире иного моря, написав: «редкая птица долетит до середины Днепра!» Поскольку каждому известно, что птицы преодолевают морские и океанские просторы, вывод из гоголевского утверждения именно такой: стоя на одном берегу означенной реки, другого берега мы не видим, и для переправы требуется корабль дальнего плавания. Или вот, помню, в школе нас заставляли учить наизусть: Русь, кто тебя выдумал... Куда мчишься ты? Нет, не так: Птица-тройка, куда ты несёшься... Нет: Русь — как бойкая необгонимая тройка... Не Русь кто-то выдумал, а птицу-тройку — топором да молотом её сработали...

Заучивали мы наизусть, сдавали на оценку, но — не запомнилось, не отложилось в памяти. Потому что текст витиеватый, путаный — видимо, из-за вдохновения, которое в тот момент автором овладело. Отрывок трудный для запоминания: у школьника мешались в голове вёрсты, спицы, ботфорты... Понятна цель тех педагогов и воспитателей, к которым подходит очень удачное определение Николая Васильевича, — *чересчур разгорячившиеся патриоты*; по их мнению, если в том или ином произведении часто повторяется слово *Русь* или слово *Родина*, нужно обязательно включить произведение в школьную программу — для патриотического воспитания, пусть дети наизусть заучивают, чтобы засело у них в голове побольше патриотизма и любви к родной стране! Но дети не каждое произведение до конца понимают. Какую-то часть художественной литературы, в школе навязываемой, как и часть других знаний, в школе преподносимых, детский ум не вмещает. Означенный пассаж про птицу-тройку из «Мёртвых душ» ребёнку или, если хотите, подростку трудно осмыслить и не под силу запомнить, так что фактически от школьника требовалось, а может, и сейчас требуется, — в угоду педагогике,

замешанной на патриотизме, — не осмысленное запоминание, а тупое зазубривание: запомни, какие существительные, глаголы и прилагательные в каком порядке друг за другом следуют. По прошествии недолгого времени отдельные фразы из лирического отступления про птицу-тройку из памяти выветриваются, оставшиеся восклицания перепутываются... Кроме того, по прошествии времени у здравомыслящего человека возникает здравое суждение: Русь — не бойкая, она не летит, она не птица, и гоголевское сравнение России с тройкой — нелепо. Россия — большой и тяжёлый корабль, который медленно плывёт, он тяжело и не вдруг разворачивается, и если такой корабль набрал ход, ему трудно лавировать, и его трудно остановить, когда появляется опасность налететь на камни или сесть на мель...

Началась Крымская война; участник севастопольской обороны Л. Н. Толстой высказал свои впечатления в «Севастопольских рассказах»; борзописцы из «Северной пчелы», отсиживаясь в Петербурге, напечатали, в № 37 за 1854 год, очередные патриотические вирши:

Вот, в воинственном азарте,  
Воевода Пальмерстон  
Поражает Русь на карте  
Указательным перстом.

Вдохновлен его отвагой,  
И Француз за ним туда ж,  
Машет дядюшкиной шпагой  
И кричит: *Allons, courage!*

Полно, братцы, на смех свету  
Не оставайтесь в дураках.  
Мы видали шпагу эту  
И не в этаких руках.

Упомянутый *воевода* Хенри Темпл Пальмерстон в 1854 году был, собственно, министром внутренних дел Великобритании, но ему приписывали руководящую роль в дипломатической и затем вооружённой борьбе с Российской империей. Что за *дядюшкина шпага* в руках Француза? Под *дядюшкой* следует понимать Наполеона: он, более опытный вояка, не сумел в своё время победить Россию, так что пусть его молодые племянники не выставляют себя на смех всему свету со своим *Allons, courage* (Смело вперёд)!

Стихотворение незамысловатое, но бойкое, напористое, рифмы в нём чеканные или, если хотите, барабанные. Чтобы не сбить заданный ритм, читатель неизбежно произнесёт слово *машина* с ударением на первом слоге.

Если дядюшка безславно  
Из Руси вернулся вспять,  
Так племяннику подавно  
И вдали не сдобровать.

Альбион — статья иная —  
Он еще не раскусил,  
Что за машина такая  
Наша Русь, и в сколько сил.

Главную роль в Крымской войне, да и в мировой политике в тот период, играла Англия — это даже мелкому чиновнику Поприщину, повредившемуся в рассудке, было понятно. В какой-то момент Аксентию Ивановичу вообразилось: он испанский король, а его инквизиция преследует — по какому праву? Новоявленный *монарх* смекнул: инквизиторы действуют по наущению французов во главе с Огюстом Полиньяком, видным политическим деятелем, но за французами стоят англичане!

«Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуться инквизиции. Оно, правда, могло со стороны Франции, и особенно Полиньяк. О, это бестия Полиньяк! Поклялся вредить мне по смерть. И вот гонит да и гонит; но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик. Он везде юлит. Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает».

Любопытно, откуда Гоголь взял поговорку про табак? Наверно, в Малороссии нечто подобное имело хождение: пан нюхает табак, холопы чихают — что-нибудь в этом роде? А Гоголь перелицевал и приспособил к международным отношениям. Или из иноземных языков пришло к нам сие речение? В одном английском произведении мне встретилось: *When the king takes snuff all the people sneeze.* — Когда король нюхает табак, весь народ чихает, — но источник был не такой уж давний, кто-то так выразился в английской печати в начале двадцатого века. Поищем во французских лексиконах и у французских авторов... Вот, нашлось: «*Le monde entier sait que quand l'Angleterre prend du tabac, c'est la France qui éternue*». Да, но это слова Поприщина из «Записок сумасшедшего» — как их перевели с русского на французский в 1845 году!

Поприщин называет главного инквизитора — видимо, это смотритель сумасшедшего дома — всего лишь *орудием англичанина*, и тут же используется слово *машина*... Мы возвращаемся в 1835 год, к первому изданию «Арабесок»:

«Сегодня Великий Инквизитор пришел в мою комнату, но я услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он увидевши что нет меня, начал звать. Сначала закричал: Поприщин! — я ни слова. Потом: Аксентий Иванов! Титулярный Советник! дворянин! — Я все молчу. — Фердинанд VIII, Король Испанский! — я хотел было высунуть голову, но после подумал нет брат ненадуешь! знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову. Однакоже он увидел меня и выгнал палкою из-под стула. <...> Великий Инквизитор однакоже ушел от меня разгневанный и грозя мне каким то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бессильною злобою, зная, что он действует как машина, как орудие Англичанина».

Инквизитор, по мнению Поприщина, действовал, *как машина*, — понятно, что имеется в виду не размер, не величина, а механическое, бездумное выполнение команд... Да, а в стишке из «Северной пчелы», напечатанном, повторяю, в 1854 году, когда в России уже имелись железные дороги, *машину* можно понимать как *паровоз*: первые паровые локомотивы называли у нас именно так, и неназванный пиит обещал удивить британцев: хоть они и *практические головы*, мы им покажем, сколько лошадиных сил в нашей машине, мы их удивим высоким давлением! Слово *машина* повторяется в последней строфе — и мы убеждаемся по ритму, что сочинитель уверен в правильности выбранного им ударения: на первом слоге!

То-то будет удивленье  
Для практических голов,  
Как высокое давленье  
Им покажут без паров!

Знайте ж — машина готова,  
Будет действовать как встарь,  
Ее двигают три слова:  
Бог, да родина, да Царь!

По ходу дела нельзя ли установить личность автора? Чисто из любопытства: кто написал эти вполне складные, однозначно патриотические, но литературной ценности не имеющие стихи, напечатанные в «Северной пчеле» без подписи? Их приписывали П. А. Каратыгину (1805–79), актёру и сочинителю водевилей, другие указывали на поэта В. П. Алферьева (1823–54)... Согласимся, что авторство не имеет особого значения; кто-нибудь в самой «Северной пчеле» мог по-быстрому сложить подобные рифмы, или из цензурного или жандармского управления прислали для непременно публикации материал с целью поднятия духа в период Крымской войны: и в цензуре, и в корпусе жандармов служило немало образованных чиновников — людей *не без образования*, как сказал бы Н. В. Гоголь, и среди них имелись такие, которые не только читали всё, поступающее в печать, но и сами *подписывали*. Кстати, сравнение России с

паровозом куда точнее, чем сравнение с бойким экипажем, с лёгкой стремительной тройкой. И что? Нет, не будем из-за одного удачного выражения возводить неведомого стихотворца, будь он из актёров или из жандармов, до уровня Н. В. Гоголя...

А в завершение главы почему-то тянет сделать одно то ли уместное, то ли неуместное замечание: в 1854 году многочисленным служащим из цензурного комитета и жандармского корпуса не лучше бы отправиться в Крым для обороны Севастополя от *племянников* Наполеона и от *воеводы* Пальмерстона? Чем плодить патриотические статьи и вирши, на ход Крымской войны не оказавшие никакого влияния, и каждодневно бороться с инакомыслием — инакомыслием, которое никогда и никому не удалось пресечь, обуздать или, тем более, искоренить.

### **Звериная фамилия, другие имена и названия**

Представим, что наше знакомство со столичной жизнью Николая Васильевича Гоголя началось не по материалам, собранным знающими литературоведами; предположим, что мы впервые прочитали о квартире Гоголя на Екатерининском канале около Сенной площади не в литературной энциклопедии и не в современном путеводителе по Петербургу, а в книге «Мои воспоминания», автор которой, барон А. И. Дельвиг, лично знавший Гоголя, сообщает:

«Гоголь жил в верхнем этаже дома Зайцева, тогда самого высокого в Петербурге, близ Кокушкина моста, а так как я жил в доме Дружинина, вблизи того же моста, то мне иногда случалось завозить его».

Обратимся для проверки к какому-либо старому справочнику. Вот, например, нам поможет «Указатель жилищ и зданий в Санкт-Петербурге», изданный в 1822 году, и дополнительно заглянем в более позднее издание, в «Книгу адресов С. Петербурга на 1837 год»; посмотрим, сравним и удостоверимся: был, действительно, в Петербурге домовладелец по фамилии Зайцев. И мы, полагаясь только на эти сведения, станем утверждать и уверенно писать для какого-либо нового путеводителя, справочника или, может быть, даже в научный журнал: Н. В. Гоголь проживал какое-то время в доме Зайцева.

Это я к тому, что не следует доверять полностью и безоговорочно сказанному, написанному и напечатанному по поводу исторических событий, пусть даже показания исходят от современников и очевидцев, пусть даже они вышли из-под пера признанных авторитетов и напечатаны в академических изданиях. Люди, в том числе свидетели и очевидцы, по-разному видят и слышат, по-разному запоминают и забывают, по-разному осмысливают увиденное и услышанное, и некоторые тут же что-то додумывают или по прошествию какого-то времени перевирают, при этом иногда переиначивая сознательно, дабы выставить событие так, как им больше подходит или нравится, — *прилгнут немного*; помните, по мнению Городничего в комедии «Ревизор», *не прилгнувши не говорится никакая речь*. А уж сколько искажений и перевираций, да и беспардонной лжи, попало в печать и утвердилось в умах, потому что авторы подделывались под требования, заданные в тот или иной период теми или иными светскими властями, духовными наставниками, цензорами, издателями и редакторами, или пишущие льстили отдельным личностям, кланялись *взыскательной* публике, подлаживались к *разгорячившимся патриотам*, угождали разбушевавшейся черни...

Что касается барона Дельвига — с его «Воспоминаниями», подчёркиваю, а не дневниковыми записями, — автор просто забыл по прошествию многих лет фамилию домовладельца. Видимо, осталось в памяти что-то, связанное с животными: Лисьев? Медведев? Волков? Кажется, Зайцев... Фамилии более значимых людей приводятся Дельвигом, как я понимаю, без ошибки:

«На вечерах Плетнёва я видал многих литераторов и в том числе А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Пушкин и Плетнёв были очень внимательны к Гоголю. Со стороны Плетнёва это меня нисколько не удивляло, он вообще любил покровительствовать новым талантам, но со стороны Пушкина это было мне вовсе непонятно. Пушкин всегда холодно и надменно обращался с людьми мало ему знакомыми, не аристократического круга и с талантами мало известными. Гоголь же тогда не напечатал ещё своего первого творения «Вечера на хуторе близ Диканьки» и казался мне ничем более, как учителем в каком-то женском заведении, плохо одетым и ничем на вечерах Плетнёва не выказывавшимся. Я и не подозревал тогда в нём великой его гениальности».

Барон А. И. Дельвиг (1813-87) сообщает, что видел Гоголя на литературных вечерах у П. А. Плетнёва в 1831 и 1832 годах. Краевед А. Г. Яцевич (1887-1942) в своём исследовании «Пушкинский Петербург» суживает срок и уточняет: сведения Дельвига относятся к зиме 1831 года и первой половине 1832 года. При этом Яцевич замечает:

«Ни у Кокушкина моста, ни вообще во всех четырёх Адмиралтейских частях в то время не было дома Зайцева. Самый высокий дом в городе принадлежал тогда Зверкову и стоял действительно у самого Кокушкина моста, наискось от дома Дружинина, в котором жил А. И. Дельвиг. Очевидно, Дельвиг, составляя свои воспоминания много лет спустя, упомянул ошибочно Зайцева вместо Зверкова».

Мы возьмём здесь сторону не Дельвига, очевидца и современника, а сторону Яцевича, хотя на упомянутых вечерах у Плетнёва (1791-1865) он не бывал и с Гоголем не встречался. Почему? Потому что, всё так же сверяясь с «Указателем жилищ» и с «Книгой адресов», основанных на официальных документах, а не на литературных сочинениях и воспоминаниях, мы убеждаемся: действительно, существовал домовладелец Зайцев, но его недвижимость находилась в других частях Петербурга, тогда как купец второй гильдии Иван Матвеевич Зверков владел участком земли под № 126 во 2-й Адмиралтейской части как раз на пересечении Екатерининского канала и Столярной улицы.

И этот участок, точнее, громадный дом, на оном участке для Зверкова построенный, мы и созерцаем сейчас, остановившись у Кокушкина моста и предавшись размышлениям о гоголевской *машине*.

Екатерининский канал был границей: на той стороне, где в доме Зверкова жил когда-то Гоголь, и где в доме Алонкина на Малой Мещанской жил когда-то Достоевский, там — 2-я Адмиралтейская часть, а с *нашей* стороны — 3-я Адмиралтейская. На пути от Вознесенского моста к Кокушкину мы прошли мимо нескольких жилых зданий, одно из которых принадлежало упомянутому Дружинину, или стоит на земельном участке, ему когда-то принадлежавшем. В тех же справочниках мы находим ради интереса Александра Семёновича Дружинина: действительный статский советник, проживал в доме Трута у Кокушкина моста... Да, так напечатано: *Кукушкин* мост. Но Дружинин из воспоминаний барона Дельвига представлен домовладельцем, так что, похоже, нужно искать другого человека с такой же фамилией. Вот, нашёлся Александр Яковлевич Дружинин, коллежский советник, с указанием адреса: по Екатерининскому каналу в 3-й Адмиралтейской части у Кокушкина моста в доме № 65. И снова *Кукушкин* мост; но означенный дом, как здесь написано, принадлежал не Дружинину, а Меллер-Закомельской. И тут же мы обнаруживаем, что по соседству, под номером 63, жил *в собственном доме* Яков Александрович Дружинин, тайный советник, управляющий департаментом мануфактур и внутренней торговли. Несколько странно, не находите? — три человека с одинаковой фамилией, похоже, что родственники, значились в одном и том же квартале, но, получается, жили в разных домах... Поскольку мы ведём разговор на литературную тему, нам вспоминается, что *домовладелец* Я. А. Дружинин (1771-1849) состоял в «Беседе любителей русского слова», в 1841 году его даже избрали в почётные члены Петербургской академии наук по Отделению русского языка и словесности; кроме того, именно этот Дружинин, разбирая после смерти Екатерины Второй её личные вещи, обнаружил среди них «Остромирово Евангелие», оценил его значение и передал означенный письменный памятник, уже в царствование Александра Первого, в Публичную библиотеку... Впрочем, среди только что прозвучавших имён, в том числе очень славных, я обратил особое внимание на фамилию человека, который к знатым родам не принадлежал, высоких чинов и наград не имел и ничем не прославился; этот человек — Трут. Его имя и отчество никому не известны, годы жизни тоже никто и нигде не указывает, но пишут, что был он аптекарем: аптекарь Трут. А память о нём сохранилось только потому, что в его доме, находившемся здесь же на Екатерининском канале между Вознесенским и Кокушкиным мостами, поселился зимой 1828 года, сразу по приезде из Малороссии в Петербург, молодой человек Николай Гоголь-Яновский.

Так, по крайней мере, утверждал Владимир Иванович Шенрок (1853-1910), собравший и опубликовавший в четырёх томах «Материалы для биографии Гоголя». В декабре 1828 года Гоголь вместе со своим однокашником (или, как сказал бы Гоголь, *однокорытником*) Данилевским едет в столицу и, подъезжая к Петербургу, они задумываются о том, где снять

квартиру; Шенрок, указывая на дом аптекаря Трута, полагался на воспоминания А. С. Данилевского (1809-88):

«На последней станции перед Петербургом наши путники прочли объявление, где можно остановиться, и выбрали дом Трута у Кокушкина моста, где и пришлось Гоголю проскучать несколько дней в одиночестве, пока Данилевский, не будучи в состоянии устоять против соблазна и оставив его одного, пустился странствовать по стогнам Северной Пальмиры. Неудивительно, что первые впечатления, вынесенные им из знакомства с Петербургом, были несравненно отраднее, нежели у Гоголя».

Правда, большинство нынешних исследователей не доверяют Шенроку. Или, скажем так, они не доверяют Данилевскому, хотя в одном авторитетном издании, а именно в книге «Переписка Н. В. Гоголя» (Москва, 1988), можно прочитать, что Данилевский *обладал превосходной памятью*. В большинстве современных источников утверждается, что сначала молодые люди, выпускники Нежинской гимназии, поселились на Гороховой улице, и первая петербургская квартира Гоголя была в доме купца Галыбина. Это недоверие, которое можно считать опровержением, кажется обоснованным. Приводится письмо Гоголя из Петербурга к матери, написанное 3 января 1829 года, не совсем *тотчас*, но почти сразу по приезде в Петербург, с указанием обратного адреса:

«Я много виноват пред вами, почтеннейшая маминька, что не писал вам тотчас по моем прибытии в столицу. На меня напала хандра, или другое подобное, и я уже около недели сижу, поджавши руки и ничего не делаю. <...> Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, так же лживы. Жить здесь не совсем по-свински, т. е. иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали. За квартиру мы платим восемьдесят рублей в месяц, за одне стены, дрова и воду. Она состоит из двух небольших комнат и права пользоваться на хозяйской кухне. <...> Это все заставляет меня жить, как в пустыне; я принужден отказаться от лучшего своего удовольствия — видеть театр. Если я пойду раз, то уже буду ходить часто; а это для меня накладно, т. е. для моего неплотного кармана. В одной дороге издержано мною триста слишком, да здесь покупка фрака и панталон стоила мне двух сот, да сотня уехала на шляпу, на сапоги, перчатки, извозчиков, и на прочие дрянные, но необходимые мелочи, да на переделку шинели и на покупку к ней воротника до 80 рублей <...> На первый раз довольно...»

Мы воспроизвели отрывок из письма в редакции П. А. Кулиша (1819-97) по изданию «Сочинения и письма Николая Васильевича Гоголя» (1857). Это письмо известно было и В. И. Шенроку, и другим ранним исследователям, но полный текст с припиской, где указан адрес на Гороховой, появился, как я понимаю, только в советское время, в 1940 году — в десятом томе Полного собрания сочинений:

«Ваш покорнейший, навек вам преданный сын Н. Гоголь. Адрес мой 3-й Адмиральтейской части на Гороховой улице подле Семеновского моста в доме купца Галибына под № 130».

После чего и пошёл разговор о первой квартире Гоголя не в доме Трута, а у купца Галыбина (здесь номер указывает на земельный участок, не на строение). И нам приходится признать, что Данилевского подвела память, и они с Гоголем, приехавши из раздольных малороссийских мест, не сразу оказались на тесно застроенном Екатерининском канале. Хотя, отметим, и дом купца Н. Е. Галыбина, или, скорее, Галибина, находился в 3-й Адмиралтейской части, только не на *канаве*, а на реке Фонтанке... Тогда возникает вопрос: когда *однокорытники* переехали от купца Галыбина, и сколько они жили у аптекаря Трута?

В своём письме от 30 апреля того же 1829 года *преданный сын* сообщает *почтеннейшей маминьке*: «Я переменил прежнюю свою квартиру». Из книги А. Яцевича «Пушкинский Петербург» мы узнаём, что в апреле 1829 года Гоголь из дома Трута на Екатерининском канале переехал на Большую Мещанскую, в *дом каретника Иохима*. Между прочим, Яцевич, написавший свою книгу ещё до выхода Полного собрания сочинений Гоголя, повторяет свидетельство Шенрока: Гоголь и Данилевский «на последней почтовой станции <...> прочли объявление о сдающемся помещении в доме Трута у Кокушкина моста. <...> Большой дом аптекаря Трута стоял на Екатерининском канале рядом с церковью Вознесения». Кстати, некий каретник Иохим упоминается в комедии «Ревизор», а Большая Мещанская — это та, которую в своей повести «Невский проспект» Гоголь назвал улицей *табачных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф*. Под *чухонскими нимфами*, видимо, следует понимать

*непотребных*, или, как их ещё именовали, *бездельных*, женщин. Большую Мещанскую ещё до Революции переименовали в Казанскую, потом она стала улицей Плеханова — в советское время, когда новая власть, утверждая себя, вытравливала старые и наносила новые названия на карту Петербурга: чтобы революционно всё звучало и по-советски, чтобы всё вокруг было проникнуто духом коммунизма и утверждало марксизм-ленинизм, чтобы улицы и переулки прославляли товарища Ленина, товарища Сталина или кого-либо из их товарищей, так что и Вознесенский проспект получил имя Майорова, какого-то незначительного, но революционного деятеля, и Плеханова с Грибоедовым тоже вспомнили как критиков прежнего строя, увековечив одного в улице здесь же в Адмиралтейской части, другого в канале, *известном*, по ироническому отзыву Гоголя, *своею чистотою*...

Как-то очень быстро Гоголь менял *прежние свои квартиры*: в январе он у Галыбина, в какой-то период между январём и апрелем у аптекаря Трута, в конце апреля уже в доме Иохима; так быстро, что лично мне даже не верится: жил ли он в действительности по *всем* адресам, ныне известным как *гоголевские*? Так или иначе, в апреле 1829 года Гоголь уже на Большой Мещанской, и благодаря ему имя каретника Иохима, так же как имя аптекаря Трута, сохранилось до наших дней, тогда как миллионы других имён ушли безвозвратно в небытие и стёрлись бесследно в памяти человеческой.

В длинном письме от 30 апреля 1829 года Гоголь рассказывает матери:

«Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе двух портных, одну маршанд де мод, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, дегатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку. Естественно что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками. Я живу на четвертом этаже, но чувствую, что и здесь мне не очень выгодно. Когда еще стоял я вместе с Данилевским, тогда ничего, а теперь очень ощутительно для кармана: что тогда платили пополам, за то самое я плачу теперь один».

В мае 1929 года Гоголь всё ещё на Большой Мещанской в доме каретника Иохима, а в июле он, прожив в Петербурге чуть больше полугода, вдруг срывается с места и отправляется за границу... Я повторяю вслед за Яцевичем и другими исследователями: *каретный мастер Иохим*, хотя у меня имеются сомнения, был ли он каретником? Да, мы помним, что сам Гоголь назвал домовладельца каретным мастером, что в «Ревизоре» упоминается некий Иохим, хотя Хлестаков, застрявший без денег в гостинице и изголодавшийся, не называет его изготовителем карет, он говорит только о найме кареты:

«Что за беда — посидеть какую-нибудь неделю без обеда? Того ли еще будет...»

Виноват, я опять перепутал, поскольку возник ералаш — на рабочем столе из-за обилия книг и листочков с выписками, и, честно говоря, в голове, из-за постоянного общения с путанными свидетельствами и противоречивыми показаниями. *Посидеть какую-нибудь неделю без обеда* — слова самого Гоголя из его апрельского письма, которое мы только что зачитывали: так *Николенька* намекает *маминьке*, чтобы она снова и побыстрее высылала ему деньги; а в «Ревизоре» щегольски одетый, но безденежный Хлестаков задумывается: не продать ли *что-нибудь из платья*?

«Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал на прокат кареты, а хорошо бы, чорт побери, приехать домой в карете, подкатить эдаким чортом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились: кто такой, что такое? — а лакей, золотая ливрея, входит (*вытягиваясь и представляя лакея*): Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять?»

В черновом варианте было: «Жаль, что Иохим не поверил кареты на прокат». При этом Гоголь колебался: не написать ли *проклятый Иохим*... Нынешнему читателю эта фамилия ничего не говорит, как и фамилия домовладельца Зверкова, в обоих случаях Гоголь мог рассчитывать на понимание современной ему публики, при этом преимущественно петербургской и осведомлённой.

В Хлестакове мы узнаём самого Гоголя в молодости с его страстью к щегольству и желанием пустить пыль в глаза, с его неразумной тратой денег: вернёмся хотя бы к его собственным словам из письма матери от 3 января 1829 года: «В одной дороге издержано мною триста слишком, да здесь покупка фрака и панталон стоила мне двух сот, да сотня уехала на шляпу, на

сапоги, перчатки, извозчиков <...> да на переделку шинели и на покупку к ней воротника до 80 рублей...» Это при том, что служащие, например, чиновники вроде Поприщина, получали в то время рублей восемьдесят в месяц; такой оклад определяют и самому Гоголю — когда он поступит на службу в Департамент уделов, а письмо написано им, напомню, по приезду в Петербург, когда у него не имелось ещё своего заработка, так что у разумного человека возникает вопрос: имеет ли *Николенька* право тратить на щегольские вещи — столичный фрак ему сразу с дороги понадобился, перчатки ему подавай и новую шляпу, и без театра ему никак не обойтись! А ведь деньги на поездку и устройство в Петербурге были собраны для него матерью с трудом...

Правда, читая письма Гоголя, нужно всегда держать в памяти, что он мог что-то и присочинить. В своих письмах, да и в устном общении с людьми Гоголь очень даже мог *прилгнуть*, точно как созданный им Хлестаков. В первом послании из Петербурга он, как мы прочитали, жалуется матери: «На меня напала хандра или другое подобное, и я уже около недели сижу, поджавши руки и ничего не делаю». А другим он рассказывал совсем другое. Например, П. В. Анненков (1813-87) слышал от Гоголя следующую историю:

«Тотчас по приезду в Петербург Гоголь, движимый потребностью видеть Пушкина, который занимал всё его воображение ещё на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликёра. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: Дома ли хозяин? — услышал ответ слуги: Почивают! — Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: Верно, всю ночь работал? — Как-же, работал, — отвечал слуга, — в картишки играл. — Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесённый школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окружённого постоянно облаком вдохновения».

Итак, по одной версии: *около недели сижу и ничего не делаю*, по второй: *тотчас по приезду в Петербург отправился к Пушкину*. Второе утверждение отдаёт *хлестаковщиной*, вы не находите? В конце декабря 1828 года Пушкина, возможно, вообще не было в Петербурге, куда он в означенный период только *наезжал* время от времени, так что по какому адресу, на какую квартиру мог отправиться Гоголь *тотчас по приезду и прямо из дома*. Кстати, прямо из дома Галыбина на Гороховой или из дома Трута на Екатерининском канале? По мнению большинства исследователей, знакомство Гоголя с Пушкиным состоялось 20 мая 1831 года на литературном вечере у Плетнёва. Плетнёв снимал квартиру в доме Сухаревой в начале Московского проспекта, тогдашнего Обуховского, в двух шагах от Сенной площади... В своих разысканиях, вы заметили, мы не покидаем границ Адмиралтейской части с её *середиными* улицами и переулками, мы то и дело возвращаемся на Сенную площадь, на Екатерининский канал вблизи Кокушкина моста, на одну из Мещанских улиц...

Возвращаясь к Иохиму, я задаю очередной вопрос: почему его называют каретным мастером? Можно даже встретить утверждение о его широкой известности: мол, в 1829 году Н. В. Гоголь проживал в доме *знаменитого* каретника Иохима на Большой Мещанской. Мои сомнения вызваны вот чем: просматривая уже знакомый нам «Указатель жилищ и зданий в Петербурге», составленный С. И. Аллером, я нашёл список столичных каретников, но среди них нет Иохима. В отдельной главе перечислены петербургские седельные мастера, среди которых значится Иоган Иохим, владеющий домом на участке номер 78 по Большой Мещанской в 3-м квартале 2-й Адмиралтейской части. Так что, строго говоря, в 1829 году Гоголь жил у *седельного мастера* Иохима. Я понимаю, что для некоторых каретник и седельный мастер — одно и то же, но это два разных ремесла, а Гоголь назвал его *каретником*, может быть, только потому, что *каретный* мастер благороднее звучит, чем *седельный*.

В справочнике Аллера указано, что означенный Иохим имел также дом на участке под номером 108 *по Столярной улице*. Это всё та же Столярная, ныне Столярный переулок, идущий от Большой Мещанской и заканчивающийся у Кокушкина моста, и, как считают исследователи, именно в этом втором доме Иохима проживал Родион Раскольников, созданный воображением Достоевского. Как сказал бы А. С. Пушкин, такие вот *странные сближения*.

**То ли у Иохима, то ли у Зверкова, то ли в марте, то ли в мартобре, то ли никоторого числа**

По ходу разысканий мне попался материал под заголовком «Литературный Петербург», написанный в помощь школьникам для лучшего понимания русской литературы; из коего я привожу следующее предложение: «Прожив более полугода в доме Трута, в апреле 1829-го Гоголь поселился на Большой Мещанской улице (Казанская, 39), напротив Столярного переулочка, в тесной квартире на четвёртом этаже дома известного во всём Петербурге каретного мастера Иохима». Ладно, если все считают Иохима каретником, пусть будет каретником, при этом каждому известным; но как понимать эти *более полгода*, по какому календарю они высчитаны? Гоголь приехал в столицу в конце декабря. Январь, февраль, март и апрель следующего, 1829 года, — четыре месяца. Переезд состоялся, когда Гоголь не прожил у Трута и четырёх месяцев. А если, по утверждению современных исследователей, поначалу он жил у Галыбина, то пребывание в доме Трута будет ещё короче...

Вообще, разбирая всего лишь отдельные слова и небольшие отрывки из гоголевских «Записок сумасшедшего», пытаюсь проследить за передвижениями самого Гоголя по Петербургу в течение всего лишь одного года, я всё больше запутываюсь, и видя очередное несоответствие дат и отрезков времени, я невольно вспоминаю, как Поприщин, уже определённо свихнувшийся, датировал свои записи. Например: «Мартобря 86 числа, между днём и ночью».

Осенью 1829 года, а именно двенадцатого ноября, Гоголь, съездивший без определённой цели и неожиданно для всех за границу, пишет матери из Петербурга:

«Я надеюсь получить довольно порядочное место в министерстве внутренних дел, но жалованья не могу получить раньше, как через два месяца. Нечего делать, нужно будет прибегнуть снова к Андрею Андреевичу, хотя он и слишком много издержался в Петербурге. Однако ж все-таки где-нибудь достану 300 рублей <...>. Боже сохрани, чтобы я осмелился просить у вас, а особливо еще в нынешнее время...

Вы узнаете, что довольно нерасчетно живу или по крайней мере жил прежде, но, ради бога, не верьте Светличному, в жизнь мою я не видал такого жестокого лгуна: когда он видел, чтобы у меня пировало множество гостей на мой счет? когда я нанимал квартиру, состоящую из 3-х комнат, один? И теперь нанимаем мы 3 комнаты, но нас три человека вместе стоят, и комнатки очень небольшие. <...>

Николай Гоголь-Яновский.

Мой адрес: у Кукушкина мосту, в доме *Зверькова*, комната под № 16».

Гоголь всё ещё нигде не работает, он *снова* собирается взять в долг у А. А. Трошинского, он по-прежнему выклянчивает, пусть и не напрямую, деньги у матери и отменяет её упреки в нерасчётливой жизни: по поводу пирушек её ввёл в заблуждение *жестокий лгун* Светличный! Любопытно, что ни один исследователь, даже из первых, лично знавших Гоголя, не мог установить личность *жестокослого лгуна*.

Любопытно, на мой взгляд, ещё вот что: Гоголь называет свой новый адрес, он уже квартирант в доме *Зверькова*, но в академическом Полном собрании сочинений, в примечаниях к этому письму, нам объясняют по поводу *Нас три человека вместе стоят*: «На квартире в доме Иохима, на Мещанской, вместе с Гоголем жили Н. Я. Прокопович и И. Г. Пашенко, его товарищи по Нежину».

Так о какой квартире идёт речь? Где всё-таки жил Гоголь в ноябре 1829 года, у *Зверькова* или у *каретника Иохима*?

Здесь упомянут Иван Григорьевич Пашенко; по воспоминаниям его брата, Тимофея Григорьевича, прибытие Гоголя в Петербург и его пребывание в Петербурге на первых порах протекало не так, как сообщали другие современники и *очевидцы*:

«По выходе из лицея Гоголь, Данилевский и Пашенко (Иван Григорьевич) собрались в 1829 году ехать в Петербург на службу. Трошинский дал Гоголю рекомендательное письмо к министру народного просвещения. Вот приехали они в Петербург, остановились в скромной гостинице и заняли в ней одну комнату с передней. Живут приятели неделю, живут и другую, и Гоголь все собирался ехать с письмом к министру; собирался, откладывал со дня на день, так прошло шесть недель, и Гоголь не поехал... Письмо у него так и осталось.»

По показаниям нового свидетеля, Гоголь не в декабре 1828 года явился в Петербург с одним приятелем Данилевским, он в 1829 году *собрался* в столицу, имея рекомендации к самому

министру просвещения! Министром, как я понимаю, был в то время К. А. Ливен (1767-1844), светлейший князь, генерал... и, так и тянет припечатать, *человек ума недалекого*, по мнению Гоголя, высказанному в письме к Пушкину в 1833 году.

Ещё по поводу писем: выше мы зачитывали послание к Пушкину — то, в котором Гоголь жаловался на *зацепу по цензуре*, когда его «Арабески» были подготовлены к печати. В том же Полном собрании сочинений нам сообщили, что письмо написано в конце декабря 1834 года. Поскольку первое издание «Арабесок» у нас под рукой, посмотрим дату, когда цензура после всех своих *зацеп*, после переделки *поляков в приезжих*, после замены *звезды на фрак*, дала-таки разрешение. Читаем чёрным по белому напечатанное:

«Печатать позволяется: <...> С. Петербургъ. 10 Ноября 1834. Цензоръ В. Семеновъ».

Разрешение на публикацию получено ещё в ноябре. И только *в конце декабря*, под Новый год опечаленный Гоголь жалуется Пушкину: *вчера вышла зацепка?* Как тут не вспомнить даты в «Записках сумасшедшего»: *в февруарии* Поприщина переселили в *Испанию*, то есть в сумасшедший дом, а к выводам о том, что его преследует бестия Полинник, он пришёл в *Январе того же года, случившегося после февраля*.

Или мне *померещилось*, уже не в первый раз, некое несоответствие? Ведь полное собрание сочинений Н. В. Гоголя не кто-то с улицы составлял, а сведущие *гоголеведы*... К счастью для меня есть у нас также пушкинисты, свидетельство которых спасает меня от подозрений в помешательстве. В «Собрании сочинений А. С. Пушкина», в пятнадцатом томе (1948), приводится это же письмо Гоголя, написанное Пушкину *не позднее 10 ноября 1834 г.*

*Около (не позднее) 10 ноября 1834 г. Петербург.*

«Вышла вчера довольно неприятная зацепка по цензуре, <...> по поводу Записок Сумасшедш<его>, но, слава богу, сегодня немного лучше. По крайней мере я должен ограничиться выкидкой лучших мест. <...> Если бы не эта задержка, книга моя может быть завтра вышла. — <...> Я посылаю вам предисловие, сделайте милость просмотрите, и если что, то поправте и перемените тут же чернилами. Я ведь, сколько вам известно, сурьезных предисловий еще не писал, и потому в этом деле совершенно неопытен. —

Вечно ваш Гоголь.»

Почему *не позднее 10 ноября*? Потому что 10 ноября цензор В. Семенов дал разрешение печатать «Арабески». По моему разумению, это письменное общение Гоголя с Пушкиным состоялось даже не *около 10 ноября*, а недели на две-три раньше. Гоголь послал Пушкину предисловие — то, с которого начинаются «Арабески»: «Собрание это составляют пиесы, писанныя мною в разныя времена <...>. Оне высказались от души, и предметом я избирал только то, что сильно меня поражало...» Черновик отправлен, нужно подождать, когда Пушкин прочитает и, может быть, что-то поправит, потом отпишет Гоголю, тот отнесёт предисловие в цензурный комитет — видимо, вместе с исправлениями в «Записках сумасшедшего»... Странно, конечно, звучит фраза: «Книга моя может быть завтра вышла». Вышла бы без предисловия, которое он только ещё обсуждает с Пушкиным?

Так или иначе, в этом же издании, в пятнадцатом томе пушкинских сочинений, мы видим другое письмо, имеющее отношение к выходу «Арабесок». Гоголь давал Пушкину прочитать повесть «Невский проспект», которую он вставил вместе с «Записками» в те же «Арабески», и Пушкин высказал своё мнение в письме, написанном *между 15 октября и 9 ноября 1834 г.*

«Перечел с большим удовольствием; кажется, все может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки. Авось бог вынесет. С богом! А. П.»

В «Невском проспекте» *секуция* — сцена, когда подвыпившие немецкие ремесленники отстегали прутьями поручика Пирогова: «Немцы с величайшим неистовством сорвали с него всё платье. Гофман всей тяжестью своей сел ему на ноги, Кунц схватил за голову, а Шиллер схватил в руку пук прутьев, служивших метлою. Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов был очень больно высечен». Пушкин надеялся, что цензура не придерётся, но она придралась и в первом издании «Арабесок» сцена заканчивается не совсем понятно: «поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события».

Так вот: цензурные *зацепы* и переделки как в «Записках сумасшедшего», так и в «Невском проспекте», имели место не в конце декабря, а во второй половине октября 1834 года...

А восемьдесят шестого марта произошло событие куда более замечательные: Поприщин впервые заявил о себе как Фердинанд VIII и сделал открытие, что женщина любит чёрта!

«Я глядел на всю канцелярскую сволочь и думал: что естели бы вы знали кто между вами сидит... <...> Через несколько минут все засуетилось. Сказали что Директор идет. Многие чиновники побежали наперерыв чтобы показать себя перед ним. <...> Но я совершенно ничего! Что за Директор! <...> Какой он директор? он пробка, а не Директор. <...> Подсунули мне бумагу чтобы я подписал. Они думали что я напишу на самом кончике листа: Столоначальник такой-то, как бы нетак! а я на самом главном месте, где подписывается Директор Департамента, черкнул: Фердинанд VIII. Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось; но я кивнул только рукою сказав: Ненужно никаких знаков подданничества! — и вышел. Оттуда я пошел прямо в Директорскую квартиру. <...> Я прямо пробрался в уборную. Она сидела перед зеркалом, вскочила и отступила от меня. Я однако же не сказал ей, что я Испанский Король. Я сказал только что счастье ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может и что несмотря на козни неприятелей мы будем вместе. Я больше ничего не хотел говорить и вышел. О это коварное существо женщины! Я теперь только постигнул что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта...»

Далее, мы помним, цензура возразила против того, чтобы чёрт засакакивал в государственную награду на груди толстого чиновника, а следующий смелый выпад был совсем вырезан:

«А вот эти все, чиновные отцы их, вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору и говорят, что они патриоты и то и се: аренды, аренды хотят эти патриоты! Мать, отца, бога продадут за деньги, честолюбцы, хриstopродавцы!»

В советское время первоначальный текст восстановили. Редакторам, конечно, не пришло в голову, что замечание Гоголя по поводу *патриотов* справедливо не только в царское, но и в любое другое время, включая советское. Все те, что *юлят во все стороны*, дабы пролезть ко двору, будь он царский или президентский, и при дворе бьют напоказ себя в грудь, выкрикивая о любви к Родине, и требуют побольше патриотического воспитания, — денег, привилегий и наград хотят они, денег из казны и звезду на грудь от правителя или правительства.

### Мастера перевода и правописания

Пока я продолжаю рассуждать, подводя к тому, что *машину* следует заменить *махиной*, более деятельные издатели, редакторы, переводчики, гоголеведы и хоть кто угодно продолжают поправлять или, если хотите, подправлять «Записки сумасшедшего» в силу своего разумения или, если хотите, неразумения.

Например, в современном девятитомном издании (1994), подготовленном к печати В. А. Воропаевым, начальник отделения, в коем служит Поприщин, имеет такую нелестную характеристику: «Вот еще создание! Чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги — Господи, Боже мой, да скорее Страшный Суд придет». И что? Ничего, всего лишь буквы разные: у Гоголя в первом издании «Записок» или, например, в Полном собрании сочинений 1862 года печаталось *страшный суд*. Хотя церковь, государство, цензура и официальная литература были проникнуты духом православия, не считалось нужным возвеличивать страшный суд с помощью прописных букв, а сегодня нам, простите, не нам, а некоторым, хочется то ли выставить Гоголя церковным писателем, то ли самому прослыть святее если на папы римского, то патриарха константинопольского... Впрочем, бог с ними, с буквами; хотя, по большому счёту, когда издатель, автор, составитель или редактор озабочен не литературой, а религией или политикой, не смыслом текста, а его *правильным* идеологическим оформлением, исходя из своих религиозных или политических понятий, литература неизбежно страдает от каких-нибудь ляпсусов. Что я имею в виду? Поприщин в «Записках сумасшедшего» сильно обеспокоился, вычитав в газете, а именно в «Северной пчеле», что в Испании *происходят возмущения* и: «Какая-то Дона должна взойти на престол. Не может Дона взойти на престол. <...> На престоле должен быть король». Стараниями современных гоголеведов текст *исправлен*... нет, здесь следует сказать *подправлен*: «Какая-то донна должна взойти на престол. Не может донна взойти на престол. <...> Как же может это быть, чтобы донна сделалась королевою?» Мне прописные буквы в *донне* не нравятся? Нет, мне не нравится, что три раза напечатано *донна* — с удвоенной согласной в середине. Ну, видимо, составитель, редактор или

корректор решили: дело происходит в Испании, будет правильным слово *Дона* привести в соответствие с испанской орфографией: *донна*. Хорошо... Вернее, чего ж хорошего: в испанском языке нет такого слова. *Донна* — это по-итальянски. Чем озабочиваться *Страшным Судом*, лучше бы словарь взяли с полки перед тем, как исправлять иностранные слова...

В первом издании «Арабесок» главный герой жаловался, что шинель у него *старого фасона*, и сукно *совсем не дигатированное*. Определение *дигатированное* исправили, и уже давно, на *дегатированное*; но если уж *исправлять*, тогда печатайте *декатированный*, *декатировать*, *декатировщик* — а не *дегатировщик*, как мы читали выше, знакомясь с разномастными жильцами в доме *каретника* Иохима. Ибо перечисленные слова, уместные, вообще-то, скорее в технической документации, а не в художественном произведении, происходят от французского *décatir*.

Посмотрите в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова:

«Декатировать <...> (*фр.* décatir) (*снец.*) Обработать (обрабатывать) шерстяную ткань водяным паром или кипячением для предохранения её от действия сырости».

Позволю себе не опровержение только что зачитанной статьи, а уточнее применительно к «Запискам сумасшедшего»: у Поприщина шинель из *неусаженного* сукна. Значение глагола *décatir* следующее: «Provoquer le rétrécissement d'un tissu par repassage à la vapeur». *Rétrécissement* значит *усадка (ткани)*, *repassage* переводится как *утюжка*. Декатировщики утюжили смоченную ткань, пропаривали утюгом, тем самым они *усаживали* её. Для чего? Чтобы изделие из обработанной ткани при стирке или, в случае с шинелью, попав под дождь, не дало усадку и стало бы тесным для владельца.

В переводах на иностранные языки мы обнаруживаем новые и новые *переделки* Гоголя. Вспомним: англичане видят русского классика в несколько *эротическом* свете, поскольку он пишет о женщинах с задранными юбками на улице, а вот и чиновник с перекрёстка гонится за барышней, упиваясь видом её *лодыжек*: *having a good look at her pretty little ankles into the bargain*. Женские *лодыжки*, или, если хотите, *щиколотки*, не совсем то же, что поэтическое *ножки*. Русское *бестия* имеет один корень с английским *beast*, но у них совсем разные значения; в английских же «Записках сумасшедшего» *наш брат чиновник* выставлен, простите, выставлены не волокитами, а животными, скотами: «What beasts our civil servants are!»

И немецким читателям, подобно английским и французским, сообщают, что у русского классика Гоголя женщины гуляют по Петербургу под дождём, закинув подолы на голову: «Auf den Strassen war niemand (никого); ich sah nur einige einfache Weiber (видел простых женщин, простолюдинок), die ihre Rockzipfel (подол, полы) über den Kopf (голова) geschlagen hatten».

Кстати, что сказано по-немецки про *Зверковскую машину*? Сказано: «So ein Ungeheuer von einem Haus!» То есть *дом-чудовище*. Или: *не дом, а чудовище*. Повторю: если в оригинале, по-русски, печатали бы не *машина*, а *махина*, все переводчики переводили бы правильно и одинаково на свои языки: *какая громадина!*

Меня остановят: позвольте, вы опять за своё. Мы же выяснили, что в словарях того времени у слова *машина* было одно значение. Мне скажут: вы взялись доказывать, что надо заменить *машину* на *махину*, но, не доказав, стали для отвода глаз бросать камни в огород издателей, переводчиков и гоголеведов, подрывать доверие к цензуре и редакции, оскорблять патриотов... Извините, о патриотах я только повторил слова Гоголя, и если царская цензура его хулильные слова вырезала, то советская редакция восстановила в полном объёме... Но, в целом, с критикой, прозвучавшей в мой адрес, я согласен. Я первый считаю, что автор, взявшись писать о чём-либо, должен сказать что-то новое или же опровергнуть какие-либо устоявшиеся заблуждения, и опровергнуть убедительно, а иначе и не стоит тратить чернила и пачкать бумагу.

Я попробую ещё раз.

### Зверковская махина

Приведу высказывание Собакевича из «Мёртвых душах», когда он расписывает Чичикову достоинства своих (уже умерших) крепостных: «Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей с фонарём не сыщете. *Машиныца* такая, что в эту комнату не войдёт».

Чувствуете? Собакевич характеризует каретника Михеева не по рабочим способностям: трудился, мол, без устали, как механизм, так что пар от него валил; нет, Михеев в изображении

Собакевича — великан, для которого комната будет мала. Вместо *машинища* здесь следует печатать *махинища*.

А как же академические словари, утверждавшие, что *машина*, она же *махина*, только орудие, которое служит... Как вы там сами зачитывали? Я повторю, я ещё раз зачитаю из «Словаря церковнославянского и русского языка» (1847): «орудие, служащее к увеличению силы и скорости движения как средств к исполнению работы». Пользуясь довольно часто этим четырёхтомным изданием или обращаясь постоянно к другим словарям, я всегда вспоминаю английского лексикографа Самуэля Джонсона, который сравнивал словари с часами: «Dictionaries are like watches; the worst is better than none, and the best cannot be expected to go quite true». Передам смысл речения: самый плохой словарь — лучше чем никакой, но и от лучшего нельзя ждать полной точности. Бывает, что мы не находим какое-либо слово у профессиональных лингвистов в академических изданиях и обнаруживаем его у В. И. Даля, который лингвистом не был. Не имеет смысла задаваться вопросом, почему *академики* в том или ином случае не включили в словарь то или иное слово, почему не привели то или иное значение: любой язык безмерен, всего не охватишь, никто не может знать всего, что-то выпадает или пропускается по незнанию, из-за недостаточного внимания, по небрежности или недоразумению, что-то не сочли нужным упомянуть...

Среди давних словарей я нашёл двухтомный «Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту», автор коего, Н. М. Яновский (ок. 1764-1826), будучи литератором и переводчиком, имел представление о составе русского языка. Во втором томе, напечатанном в 1804 году, отыскиваем *машину*, при ней имеется помета: зри *махина* (отсылающая нас к другому написанию).

Зрим *махину*. И находим целых три значения:

«1. в механике — всякое искусственное орудие простое или сложное. 2. всякая вещь или какое либо тело, имеющее чрезмерную огромность. 3. в переносном смысле говорится о таком человеке, который не по собственному разуму, но по внешним или посторонним действует побуждениям».

Третье значение мы уловили в рассуждениях Поприщина о происках и интригах, против него направленных: «Великий Инквизитор <...> действует как машина, как орудие Англичанина». Второе значение применимо к восклицанию того же Поприщина при виде Зверковского дома: «Экая машина!» — какое *чрезмерно огромное* здание.

Думаю, я представил убедительные доводы для того, чтобы при переиздании «Записок» набирать и печатать не *машина*, а *махина*... Впрочем, мне уже расхотелось править Гоголя и вносить изменения в его текст. Как у него было, так пусть и будет. Его рассказы *высказались от души*, так пусть и остаются. В примечаниях я бы объяснил, однако, как следует понимать полы, машину, дону... Впрочем, пусть кто как хочет, так и понимает. Не буду навязывать другим своего мнения. Лично я не принимал очень даже многое из того, что мне сообщали и, навязывая, заставляли прилежно повторять, когда в советское время я учился в школе и в университете. И если сегодня я не принимаю чьи-то утверждения, мне не следует ожидать, что другие примут мои суждения и согласятся с моими доводами.

## Литература

- Арабески: разные сочинения Н. Гоголя. Ч. 2. СПб., 1835.  
 А. Белый. Мастерство Гоголя. М.-Л., 1934.  
 В. В. Виноградов. Этюды о стиле Гоголя. Л., 1926.  
 В. В. Виноградов. История слов. М., 1994.  
 А. К. Воронский. Гоголь. М., 2009.  
 Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Т. 3. М.-Л., 1939; т. 10, 1940.  
 Городской указатель или адресная книга на 1850 год. Сост. Н. И. Цылов. СПб., 1849.  
 А. И. Дельвиг. Мои воспоминания. Т. 1. М., 1912.  
 П. А. Кулиш. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. СПб., 1856.  
 Карл Нистрем. Книга адресов С. Петербурга на 1837 год. СПб., 1837.  
 Карл Нистрем. Адрес-календарь санктпетербургских жителей. Т. 1, 2. СПб., 1844.

- 
- Письма Н. В. Гоголя. Редакция В. И. Шенрока. Т. 1. Спб., 1901.
- А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в шестнадцати томах. Т. 15. М.-Л., 1948.
- Сочинения Державина. Т. 7. Спб., 1872.
- Сочинения и письма Николая Васильевича Гоголя. Издание П. А. Кулиша.* Т. 5. Спб., 1857.
- Указатель жилищ и зданий в Петербурге, или адресная книга, с планом и таблицею пожарных сигналов. Издал Самуил Аллер на 1823 год. Спб., 1822.
- В. И. Шенрок.* Материалы для биографии Гоголя. Четыре тома. М., 1892-1898.
- Н. М. Яновский. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. Т. 2. Спб., 1804.
- А. Г. Яцевич. Пушкинский Петербург. Л., 1935.
- Nikolas Gogol. *Nouvelles russes.* Paris, 1845.
- Nikolai Gogol. Diary of a Madman and Other Stories.* Penguin, 1972.